

«Плясать надо от печки», – говорит народная мудрость. «На печке соломы пучок – это мой мужичок, за него завалюсь, ничего не боюсь». Я считаю, что печка, мама и мы, дети, были единым живым организмом. Сколько тысяч поколений русских она взрастила, причем здоровых поколений. На печке часто рожали наши матери и пра-пра...бабушки, росли и крепили дети, умирали старики. Деревня и слышать «не слыхивала», и видеть не видывала никаких радикулитов, хондрозов и ОРЗ. Умеренно горячее, постоянное сухое тепло кирпичей и профилактически, и амбулаторно излечивало многие болезни, даже чесотку. Голеньких ставила нас мама к устью топящейся печки, натирала смесью дегтя с горючей серой, поворачивая разными боками к жару и не обращая никакого внимания на наш рев. Чесотку как ветром сдувало через 2–3 дня.

Русский дом на севере построен по другому типу, чем в Сибири. Помещение, где стоит печка, является основным и жилым. Холодное помещение (горница) отделено от теплого капитальной стеной, где живут летом, а зимой хранят продукты (муку, соль, травы-приправы, сухие грибы, летнюю

одежду). Хозяйственные помещения от жилых отделялись большими сенями, и все вместе были под одной крышей. Из сеней вели двери на поветь (пол, настеленный над скотным двором на уровне пола жилого помещения), где в дальней его половине заготовлено сено, по стенам развешана конная упряжь и косы, стояли большие лари для зерна и муки (пустые в те годы) и где мама прятала от нас небольшие и редкие запасы сахара и подушечек-карамелек, а мы всегда их находили и съедали сразу все, за что неотвратимо наступало вечером наказание – затрещины, выволочки и угон в «лагерь», т.е. на свежий бодрящий воздух улицы. В одном углу повети оборудован туалет, в другом – жернова, на которых мы часами мололи зерно и солод, толкли льняное семя. Люк и лестница в повети вели к скотине, и мы, не выходя на улицу, могли обихаживать ее, там же трепали лен, вернее сказать, тресту (лен, разостланный тонким слоем на лугах, вымоченный дождями и высушенный солнцем) ручными мялками, и кострица от нее служила подстилкой для скота. В некоторых домах на поветь был устроен из толстых горбылей въезд для телег.

Водяная мельница в нашей деревне в то время еще действовала, но к ее услугам обращались очень редко по причине малого количества зерна у крестьян, а ветряные мельницы уже были почти все уничтожены, только недалеко от деревни Тимкино стояла на пригорке высоченная ветрянка с огромными, но уже остановленными недвижимыми крыльями. Почему их тогда разрушали, такие красивые сооружения рук человеческих, завершающих высокие элементы ландшафта, я так до сих пор этого и понять, и принять не могу, и не желаю. Не может мое сердце смириться с таким отношением государства к крестьянскому труду.

Погреб (подпол) никогда под домом не копался, так как почти вся Вологодская область стоит на моренных суглин-

ках с огромными валунами и галькой, оставленными после таяния древних ледников, и которые каждую весну вновь и вновь появлялись и убирались на пашнях. Грунтовые воды находились сразу под почвой, и поэтому грядки на огородах всегда делались очень высокими. Пространство под жилым помещением высотой около 2-х метров выполняло роль погреба, где хранились овощи и соленья.

Печка в жилом помещении стояла ближе к глухой стене и входу из сеней, к ней вплотную примыкали широкие полаты, расширяющие теплое печное пространство, заменяя кровати. В ненастные дождливые дни или в морозные, вьюжные, длинные зимние вечера вся деревенская детвора забиралась на печку, играли в дурачка и пьяницу, или в кости и камешки, проходили уличный всеобуч. Украдкой от учителей рассматривали прекрасные цветные иллюстрации в Библии, тайком хранившейся у родителей, что было тогда небезопасно – атеизм железным сапогом громыхал по России, кося прекрасные древние храмы, которыми обильно была изукрашена вологодская земля. Но, несмотря на это, деревня чтит только церковные праздники, не признавая новые светские.

К престольным праздникам готовились загодя. Тогда печка и полаты покидались нами. На них мама стелила холст, рассыпалась рожь или ячмень, они периодически сбрызгивались водой до набухания и проклеивания зерен, затем его сушили в печке, оно становилось темным, морщинистым и мелким и молось нами на жерновах до фракции ячневой крупы. В результате получался солод золотистого цвета с приятным сладковатым запахом. Брали огромную глиняную корчагу с летком – отверстием в нижней части ее, в нее клали крупно порубленную спелую чистую ржаную солому, сыпали солод на нее, забивали леток деревянной пробкой, заливали водой и ставили в вольный жар печки томиться до следующего дня.

Мы, дети, с нетерпением ждали утра и поторапливали взрослых. Наконец, корчагу доставали большим ухватом на край шестка, под нее ставили корыто, похожее на шинковку, выбивали пробку из летка, и начинало течь сусло густой золотистой струей, как только что выгнанный гречишный мед. А солома в корчаге не давала оседать солоду на дно и забивать леток. Мы уже наготове держали кружки, уговаривая маму налить еще и еще этого сладкого ароматного густого напитка. Затем мама это сусло заквашивала хмелем. Нет лучшего пива из этого сусла. На Вологодчине (и в Сибири тоже) уже давно не варят такое пиво, а перешли на быструю технологию браговарения. Оставшееся содержимое корчаги высыпалось в большую бочку, заливалось некипяченой колодезной водой, заквашивалось, и получался прекрасный пенный пивной квас, бочка закрывалась деревянным кругом и выносилась в сени, на ней постоянно стояла большая кружка для домочадцев и всех проходящих гостей и соседей в наш дом. Ранней весной из него готовили окрошку с редькой или хреном, луком и холодцом, а летом с зелеными овощами и яйцами. Причем, ни в пиво, ни в квас не добавлялось ни грамма сахара (он и за чаем-то был в прикуску, а чаще вприглядку, в сороковых годах часто в пищу шел сахарин – одна таблетка на кружку воды).

У печки также готовился чай, уже давно ставший русским напитком. В ней под самоварную трубу было специальное отверстие. В самовар клали остывшие угли из печки или лесные еловые шишки, раздувая их обычным сапогом по принципу гармонии. В каждой избе место самовара у печки можно было определить по углублению в полу, почерневшем от выпавших горячих маленьких угольков и искр. Ставился самовар в левый угол стола. У самовара собирались всей семьей, приглашали зашедших на огонек соседей и путников, которых

надвигающаяся ночь застала по пути в город Вологду. Никто и никогда в деревне не отказывал им в гостеприимстве, потому что сами часто оказывались в такой же ситуации, неся в котомках или саночках на продажу ягоды, грибы или махорку, сделанную из выращенного на огородах табака, чтобы прикупить хлеб или мануфактуру (ситец, сатин, платки). К чаю подавались все остальные кушанья, и текла неторопливо беседа. Чай пили с блюдечка, осторожно прикусывая мелко наколотым сахарными щипцами рафинадом. К одному стакану, по неписаному уговору для всех, полагался один кусочек сахара, и я, неукоснительно следуя этому правилу, старалась выпить как можно больше стаканов, предполагая, что за беседой взрослые не заметят моего особого интереса к сахару, и только дружный смех взрослых на пятом или шестом пододвигаемом мною пустом стакане к крану самовара останавливал мое чаепитие. За самоваром обсуждали текущие дела и намечали будущие, сватались женихи и пропивались невесты, договаривались о складчине и «помочах», путники делились новостями.

Печка на Вологодчине почти до конца 50-х годов служила баней. Этот элемент быта мы долго держали в секрете, переехав в Сибирь. И только в последнее десятилетие я стала говорить об этом, не стесняясь. До войны в нашей деревне была большая общая баня на берегу реки, но в 45–47-х годах ее заняли под лечебницу для коней, которые возвращались то ли из армии, то ли из лагерей и гулаговских строек отощавшие и чесоточные. Моя старшая сестра, к тому времени уже ветврач, занималась их лечением. И чем только эта баня не пахла! Поэтому пришлось ее сжечь. Построить новую баню было некому – обезмужичели деревни и села Вологодчины. Видимо, частенько в обозримых исторических веках в наших краях наступали тяжелые времена без кормильцев и

строителей, поэтому и печки клали такие огромные на всякий случай – а вдруг придется мыться в ней.

Как мылись в печке? Утром, как всегда, рано топились печь, в нее ставились чугушки с водой. Под (низ, пол) печи чисто выметался, и ближе к вечеру на него стелилась ржаная солома, она не давала обжечься пятой точке, создавала приятный аромат и задерживала воду, а излишки ее по ней же стекали на шесток и дальше в подставленный ушат на полу. Под печки имел небольшой наклон к устью печки, а свод ее по высоте позволял сидеть «во весь рост» взрослому мужчине. Туда залезал очередной член семьи, ему подавали деревянную шайку-ушат с горячей водой или щелоком и мыло, и он свободно мылся там и даже хлестался веником, окатывался же водой в сенях, а дети – на кухне. Старшая сестра долго объясняла своему мужу-сибиряку, как залезать в печку и мыться там, но он умудрился встать во весь рост в дымоход и как черт вылез оттуда весь в саже. Мы долго смеялись, но взяли с него слово, не говорить про нашу «баню» на родине в Сибири. Он сдержал свое слово, и эту тайну унес с собой в Царствие небесное.

Печка для нас детей была нашим домом, нашей крепостью, кормилицей и защитницей. Напроказив, мы бесшумно за-скакивали подальше на печку и полати от маминых мечущих молнии черных глаз и тихо сидели там, пока не пройдет гроза. И не всегда у нее хватало сил и желания вытаскивать нас оттуда, а если и вытаскивала, то, как правило, не меня, и уж тогда сестрам «мало не показывалось», как говорят сейчас, а я в знак солидарности, жалости и шумового эффекта плакала и выла с печки вместе с наказуемыми, ненадолго умолкая при маминых словах: «Тонька (уменьшительное имя на русском севере говорили с буквой «я» на конце), замолчи сейчас же,

а то и тебе перепадет», – а я снова и снова принималась выть и канючить, пока не проходила мамина ярость.

Печка не топилась только три дня в году по причине вымораживания тараканов. Когда наступал сильный мороз, мы всей семьей покидали наш дом с открытыми дверями и ночевали у соседей, затем «готовеньких» выметали веником. Но к началу следующей зимы они опять несметными полчищами появлялись на потолке над печкой и полатями и вместе с детворой весело шумели, шевеля усами и перебирая лапками. Мы совершенно не мешали друг другу, у нас, детей, они не вызывали раздражения и брезгливости, это был какой-то симбиоз в нише самого теплого печного пространства. Почему их тогда так много было в сороковые годы, я не понимала. Уже давно вологодская деревня не знает тараканов, наоборот, они стали атрибутом городской жизни.

Не всегда самой печке доставалось хорошее топливо – дров березовых и еловых, ядреных сухих полешек, умело наколотых сильной мужской рукой. По большим поленицам дров у дома можно было определить, в какой семье остался еще крепкий дед, но голод 46–47-х годов первыми скосил стариков. Заготовка дров упала на неокрепшие плечи детей и подростков. Мы вдвоем с сестрой брали санки, называемые чунями, по глубокому снегу шли в лес за дровами, пилили полусгнившие деревья и волокли их к дому. Такие дрова, конечно, давали мало тепла, но и им мы делились с беженцами из Белоруссии и вывезенными по дороге жизни блокадниками-ленинградцами. У нас жила женщина с детьми, сумевшая пешком вывести из оккупированной Белоруссии не только своих ребятишек, но и корову. Моя память сохранила только фамилию этой героини – Пешкунова. Никак не могу я решиться, чтобы начать разыскивать эту семью или их потомков.

На печке хватало места всем. Набегаемся, накупаемся в холодной воде неглубокой курьи, на дне которой еще лежит припаявшийся лед, залезем на печку все синие, с кожей в пупырышку или плохо ощипанного цыпленка, не выговаривая «тпру», укроемся огромным тулупом, хорошенько пропотеем, и никакая хворь нас не брала. Наши матери, возвратясь поздно с работы и напившись чая, присоединялись к нам, и начинались рассказы о маминой молодости, сказки, бывальщины, небылицы. За окном воеет пурга, а на печке с мамой тепло и уютно, и не страшно, что где-то в соседних деревнях живут злые колдуны, которые днями бывают людьми, живущими среди нас, а ночами оборачиваются то в свиней, то в колесо и насылают на людей порчу: вдруг у знакомой женщины в животе вырастает большая щука; или плотники, обидевшись на маленький гонорар и плохую кормежку, делали в доме какое-то устройство, которое не давало покоя и житья новоселам – по ночам во всем доме стучит, гремит и воеет; или начинало «водить» по кругу женщину, собирающую грибы, высоченное существо выше верхушек леса, а она, наконец, вспомнив про крестное знамение, неожиданно и мгновенно оказывалась около родного заулка (отгороженный участок крестьянской усадьбы около боковой части дома, где располагались ворота для скота и въезд-взвоз на второй этаж над скотным двором и где хранили сено и прочие припасы). А иногда, переходя соседнее болото, припозднившиеся крестьяне видели блуждающие синие огоньки, вероятно, там лежат в тине убитые раньше злыми татями-разбойниками богатые путники (и огоньки указывают это место) и молят прохожих, чтобы их достали и захоронили по-христиански.

Перед праздниками печка ласково и торжественно сияла, помазанная белой глиной. Приступки к ней выскабливались и мылись дресвой с мылом, рядом стоял, сверкая начищенными

боками пузатый ведерный самовар. Чистили его мелко растолченным в пудру красным, хорошо обожженным кирпичом. В печурках печки лежали чистые рукавицы и портянки. Ощущение праздника уже начинало витать в доме по этим приметам за несколько дней до него, и, наконец, он наступал вместе с вкусными запахами и предвкушением обильной еды.

Мама хлопотала у печки, мы дружно суетились около нее. На загнетке (угли, сгребенные в одну кучу около устья) у горячих углей, еще посверкивающих синими всполохами язычков огня, жарились начинки на пироги, пеклись блины. Как споро и ловко все это у ней получалось, только умело мелькал в быстрых руках ухват.

Ах эти мамины руки! Они не сравнятся ни с чем, даже с крыльями, как пела Клавдия Шульженко, а разве только с волшебными пассами мага-кудесника. Они умели все: сеять из лукошка жито и убирать его серпом, увязывая быстро и умело в снопы и ставя их в суслоны; терebить лен и мять его ручной мялкой, чтобы получить из него паклю и длинными зимними вечерами сидеть за прялкой, а затем ткать холст на рубашки, полотенца и становины; вязать носки и варежки; делать игрушки из овечьей и коровьей шерсти; выделывать кожи на яловые и хромовые сапоги на всю ближнюю округу; жарить, варить, парить и печь чисто русские блюда в русской печке – сальники, картошку в сливках, кислые суточные щи, топленое молоко с толстой пенкой и золотистыми бусинками жира сверху, всевозможные каши, пироги-рыбники, курники, кулебяки, губники (пирог с солеными рыжиками, он был так вкусен, что родилась пословица «ешь пирог с грибами, язык держи за зубами»); вареные кренделя-баранки.

В будничные дни готовились кисели без сахара – молочные, гороховые, клюквенные, овсяные, густые, хоть ножом режь, которые елись деревянными ложками и припивались моло-

ком. Щи с мясом готовились ближе к осени, когда вырастет скотина и появятся овощи на огороде. Их оставляли на ночь в печке для подкисания, и утром они были необыкновенно вкусными. Весной ели суп-болтушку – на чугунок воды несколько картошин, разбитых сосновой мутовкой до очень жидкого пюре с добавлением небольшого количества молока, так как почти все молоко сдавали государству за налоги и госзаймы. А когда появлялись дикорастущие дары, зелень на огороде и особенно молодой картофель, матери уже не боялись за нас, и страх голода уходил в сторону до следующей весны. Картошки не хватало потому, что её сушили и сдавали для государства, терли на крахмал, отжим клали в квашню, а крахмал продавали в городе, и в большом количестве он также шел на кисели и баранки.

По маминым рукам мы могли определить многое. Как они были веселы и подвижны на работе и у печки, когда была еда в доме. С каким восторгом мы смотрели на них. Блины так и отлетали от сковородки, мы на лету хватали их, перекидывая с руки на руку, как печеную картошку из костра, макали в ароматные, еще шипящие свиные или бараньи шкварки. У мамы ярко горели щеки, ласково сверкали черные глаза. А мы успевали вместе с блинами схватить незаметно немного готовой начинки для пирогов, стоявшей в сторонке на шестке, за что получали легкие и ласковые, шуточные шлепки, затрещинки и подзатыльнички. Какие счастливые мгновения, а мы пели, идя босыми в школу: «Спасибо любимому Сталину за наше счастливое детство». Низкий поклон моей матери, а не вождю мирового пролетариата. Мой нерукотворный памятник ей – моя любовь, по-щенячьи преданная в детстве и осознанная, нежная и бережливая – в моей зрелости. В последние годы ее жизни в доме у нее не было русской печки, и я, чтобы отогреть ее натруженные руки и ноги, часто

ложилась к ней, чтобы согреть их теплом своего тела. Мама успокаивалась и засыпала. Жизнь возвратилась на круги своя, только мы поменялись ролями.

И как мамины руки безвольно повисали и бестолково суе-тились, когда она не знала, как разнообразить еду из очень скудного набора продуктов или его отсутствия. Помню в голодную весну и начало лета 45-го года при разводе с отцом ей предложили двух дочерей – моих сестер отдать на воспитание отцу, который жил безбедно и сытно, работая председателем колхоза. Она собирала им легкие пожитки и одновременно растирала сухой белый болотный мох наполовину с мякиной на лепешки. Вышли мы их провожать за околицу, а мамины руки по пути рвали лебеду и крапиву для похлебки, и она специально часто наклонялась, чтобы скрыть от нас молчаливые рыдания и слезы, но они падали ей на руки и были такими горячими, что крапива становилась не жгучей. А мое маленькое детское сердце разрывалось от горя, что моя такая сильная и большая мама плачет, а я не могу ничем помочь ее горю и защитить. Через месяц сестры убежали от сытной жизни, принеся нам маленький мешочек с зерном, который они потихоньку взяли у отца, сказав нам, что никогда не вернуться туда, а лучше умрут вместе с нами. Однажды, когда мне уже было за пятьдесят, я заметила, натирая ее руки мазью, что мои руки – это точная копия ее рук, удивляясь природе наследственности. Она ответила: «Не обижайся на них, и у меня и у тебя трудолюбивые руки, они многое умели и умеют».

В престольные праздники и редкие свадьбы на селе в те годы детей не принято было сажать за стол, и печка опять принимала нас всех к себе. Оттуда мы внимательно следили за свадебным ритуалом, поведением жениха и невесты. На Вологодчине деревни маленькие, по сибирским меркам хуто-

ра, поэтому на свадьбу шли все жители, но за стол садились не все, а были вместе с нами, детьми, зрителями. Мы – на галерке-печке, а они в партере-комнатах. Наблюдателями делались прогнозы по разным приметам – счастливым и богатым или долгим и крепким будет брак, и кто у кого будет под сапогом, а кто хозяином в доме и т.д. Мы слушали и запоминали их, а также и народные песни, исполняемые на свадьбах. Кушанья подавались в больших, часто деревянных блюдах через головы зрителей, иногда попадали к нам на печку. А уж после свадьбы и ухода гостей, мы горохом скатывались с печки, и тогда стол с остатками пиршества был наш, и уже мы строили планы на будущее – какие у нас будут веселые свадьбы, каких трудолюбивых, красивых и сильных выберем себе женихов и как богато будем жить при коммунизме. Увы и ах! Нашим мечтам не удалось сбыться.

При укрупнении колхозов вологодские деревни исчезали, как грибы в жаркую погоду. В моей родной деревне из 47 домов к 1985 году осталось только 10 домов, и только высокая крапива обозначала их бывшие очертания, а печка наших соседей стояла несколько лет на улице, как из сказки про Емелюшку-дурачка, как памятник самой себе, печнику и кирпичным мастерам, целехонька и невредима с высоченной трубой, как корабль, готовый взмыть в голубую вечность неба, как живой укор покинувшим и предавшим деревню людям, взывая:

– Русские люди, за что вы меня бросили одну, я вас кормила, поила, пекла и согревала своим теплом, оберегала ваше здоровье, вы сладко засыпали на мне, отдыхая после тяжких трудов, или тихо и умиротворенно уходили навеки. Вспомните свои корни, традиции, возвратитесь к земле, на которой вы сеяли хлеб, пекли и варили такие ароматные, до непередаваемости вкусные блюда русской кухни, которые уже

никогда не удастся вам повторить ни в каких микроволновках и печках-грилях, а только в русской печке!

По приезду как-то в родную деревню я снова заглянула в золотое детство, такое тяжелое и такое прекрасное и незабываемое. Редко у кого остались русские печки, не слышно детского щебета на них – это уже пристанище только одиноких стариков, доживающих век в так называемых неперспективных деревнях. В доме у подруги полезла на печку и снова, как в детстве, ее покосившиеся приступочки призывно заскрипели, приглашая на свою теплую терракотовую спину.